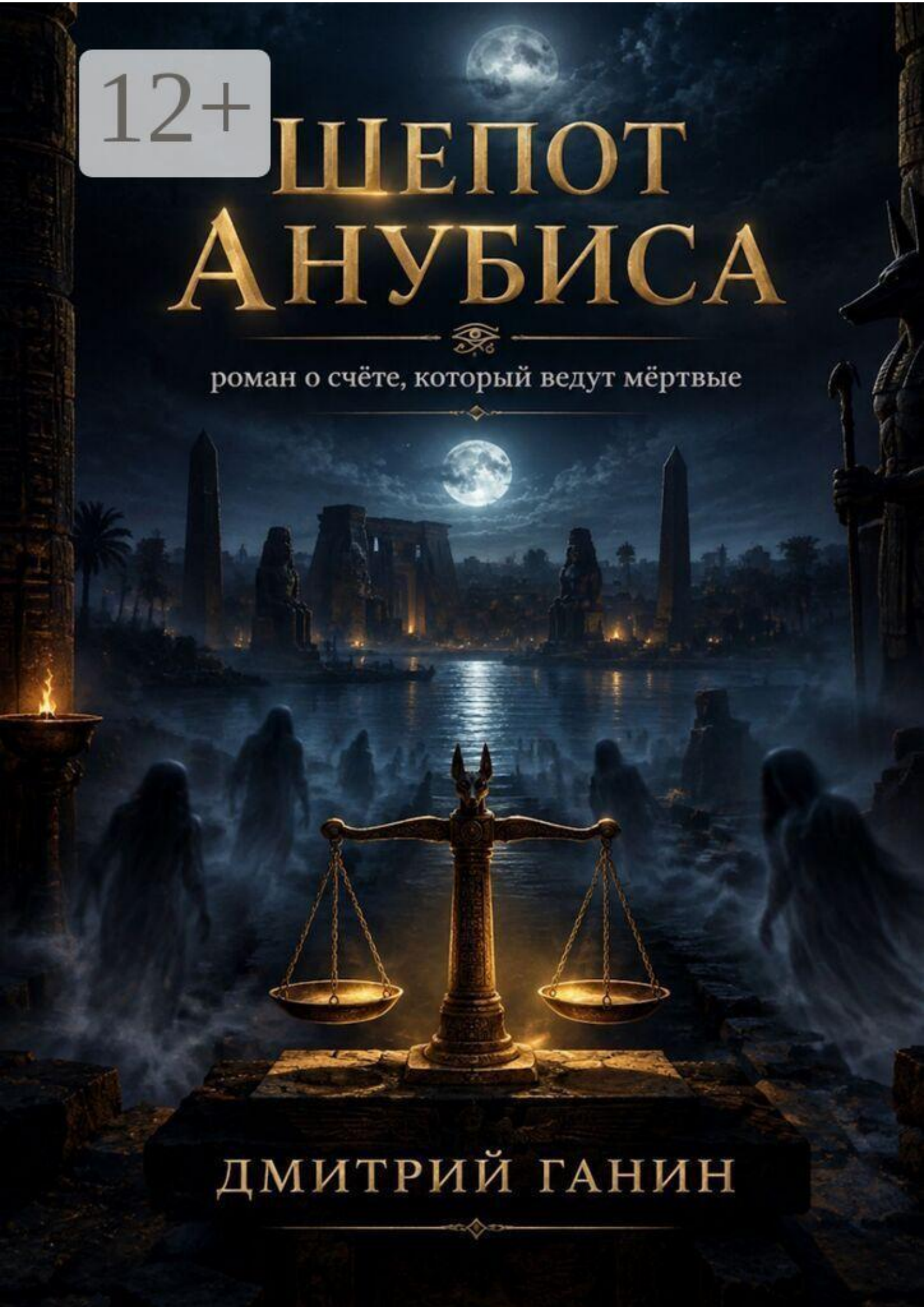
12+

Шепот Анубиса

роман о счёте, который ведут мёртвые



Дмитрий Ганин

Дмитрий Ганин

Шепот Анубиса

«Издательские решения»

Ганин Д. А.

Шепот Анубиса / Д. А. Ганин — «Издательские решения»,

«Шепот Анубиса» — мистический роман о долге, который нечем платить. Здесь мёртвые не пугают — они считают. Писец пишет свою жизнь на черепках, чтобы не потерять память; служанка знает три правила выживания в третью стражу; а Печать, три тысячи лет хранившая очередь из тридцати пяти имён, задаёт первый вопрос в своей истории. Роман о том, что память — единственная валюта, которая не обесценивается, и что счёт всегда сходится — вопрос лишь, кто заплатит.

© Ганин Д. А.
© Издательские решения

Содержание

ПРОЛОГ. ВЗВЕШИВАНИЕ 6
ГЛАВА ПЕРВАЯ. СЕРДАБ 10
ГЛАВА ВТОРАЯ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ МОЛЧАНИЯ 15
Конец ознакомительного фрагмента. 18

Шепот Анубиса

Дмитрий Анатольевич Ганин

© Дмитрий Анатольевич Ганин, 2026

ISBN 978-5-0071-5727-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРОЛОГ. ВЗВЕШИВАНИЕ

Первый Промежуток, за две тысячи лет до описываемых событий

Жрец, которого потом назовут Хранителем, а тогда звали никак — потому что имена при некрополе выслуживают, а он ещё не выслужил, — стоял на нижней ступени лестницы и держал в руках полевой сосуд с водой.

Вода была ему нужна для ритуала. Ритуала не было.

Тридцать лет шла Смута. Тридцать лет юг не признавал севера, север юга, номы царей, цари номов, и по Египту, как по больному телу, шли не армии — засухи, не войны — голод, и мёртвые, которых некому было хоронить по обряду, вставали не потому, что хотели: потому что их не заперли. Мёртвый без имени бродит. Мёртвый без гробницы ходит за живыми. Мёртвый без обряда не уходит в Дуат — он остаётся в мире, как вода, которой некуда стекать: стоит, поднимается, находит щели.

Но то, что шло по Египту в тот год, не было мёртвыми.

Молодой жрец понимал это лучше многих, потому что видел: демоны не бродят. Демоны идут. У бродящих нет направления — у идущих есть. Они шли с юга на север, ровно, по одному маршруту, вдоль русла высохшего рукава Нила, — и на местах, где проходили, оставалось не разорение. Оставалось молчание. Деревни, где они прошли, не горели и не пустели: в них просто переставали разговаривать. Люди продолжали пахать, печь хлеб, хоронить своих — но не открывали рта. Жёны переставали звать мужей. Матери — детей. Крики не исчезали: исчезала потребность их издавать.

В той деревне, где он побывал месяц назад, они говорили — но теперь только руками. Язык ушёл, а руки остались: люди показывали, сколько мер зерна, где болит, когда вернётся сын. И одну женщину он запомнил на всю жизнь — она показывала ему руками нечто длинное и вьющееся, и он долго не мог понять, что это, а потом понял: волосы дочери. Она рассказывала ему про волосы дочери — руками, потому что у неё отняли речь, а не память.

Демоны не ели плоть. Демоны ели слово.

И потому, когда на девятый год Смуты по Египту пошёл слух — слово, пробирающееся, как вода в щели, — что некий бог взвешивает, жрец не удивился. Он подумал: наконец кто-то понял, что происходит. Это не моровое поветрие и не гнев нездешних. Это счёт. Кто-то открыл счёт, которого никто не вёл, и ведёт его до сих пор.

Он увидел Анубиса на двадцать первый год Смуты — и увидел не то, чего ждал.

Ждали чёрного пса с горящими глазами, ждут и сейчас. Ему же открылось тихое поле у высохшего рукава — и фигура над ним, которая не стояла и не сидела, а присутствовала, как присутствует закон: ты его не видишь, пока не попробуешь нарушить. Бог был одет, как одеваются писцы при счёте зерна, — простое белое льняное платье — и в руках у него были не весы. Весы были рядом, на земле, и они были велики — во всю ширину поля, — но бог их не касался. Он стоял и ждал.

А перед ним, рядами, стояли демоны.

Их никто не связывал. Никто не гнал. Они пришли сами — и стояли в очереди, как стоят должники в дверях казначея: нехотя, озираясь, но стоящие, потому что знают, что от очереди не уйти — её можно только пройти. Их было множество. Он не стал считать — счёт чужой очереди в Египте запрещён; это считается воровством.

Анубис поднимал их по одному.

И жрец, стоявший на лестнице за полем, увидел то, чего не видел ни один человек этого мира: взвешивание изнутри.

Бог не клал демона на чашу. Он клал на чашу слово — то, что демон говорил за все годы своего существования, всю его речь, целиком, как снимают урожай целиком. И слово ложилось

на камень — и чаша шла вниз, вниз, вниз, — а на другой чаше не было ничего, и потому против него нечего было положить: пустая чаша всегда проигрывает.

Бог смотрел на упавшую чашу. Потом спрашивал — и жрец слышал вопрос, хотя поле отделяло его на сотню шагов:

«Готов отплатить?»

И демоны — в большинстве — молчали. Молчание было их природой: они съели столько слов, что им нечем было отвечать. Некоторые пытались: открывали рты, и оттуда выходил звук, похожий на шелест стеблей, — и бог качал головой: это не ответ, это остаток.

Толпа шла вниз по полю. Тех, кто молчал, — уводили; не демоны, не стражники: кто — жрец не понял, потому что за краем поля не было ничего видимого. А тех, кто говорил, — он не видел уведёнными. Он не видел их вообще, потому что те, кто мог ответить, у Весов не задерживались: бог кивал — и они шли дальше по полю, и поле их отпускало.

Очередь шла трое суток.

Жрец не ушёл ни на один час. Он не ел, не пил, не спал — он смотрел, потому что понимал: происходит то, что будет потом записано на стенах храмов, а может, и не будет, а может, будет записано не так. Он смотрел, и к концу вторых суток понял то, что не понимал никто:

Бог не карает. Бог взвешивает — и ждёт ответа. И все ужасы этой очереди — не наказание. Это процедура. Бог решает, что делать с долгом, который нечем платить, — и, судя по очереди, у Египта таких долгов накопилось больше, чем зерна в амбарах.

На третьи сутки очередь кончилась.

И тогда бог повернулся к лестнице.

Он не подходил. Он просто повернулся — и расстояние исчезло, и жрец понял, что поле, сотня шагов, три дня ожидания — всё это было между ними ровно до этой секунды. Жара, запах ила, звон в ушах от бессонницы — всё это стояло вокруг, а бог уже был перед ним, и молодой жрец уронил полевой сосуд, и вода, которая была нужна для ритуала, которого не было, разлилась по нижней ступени, и бог посмотрел на разлитую воду, и сказал:

— Ты не ушёл.

Жрец хотел ответить «не смог» — и не смог: язык слушался, но не было ничего, что можно было бы сказать, что показалось бы не смешным богу, который три дня взвешивал слова.

— Они молчали, — сказал он наконец. Первое, что пришло, — и это была не мысль, а боль. — Три дня никто не сказал ни слова. Я смотрел. Ни один не попросил пощады. Ни один не солгал. А я думал, демоны лгут.

— Демоны не лгут, — сказал Анубис. — Демоны молчат. Лгут живые. Ты будешь служить при Весах — ты увидишь это много раз: передо мной молчат даже убийцы. Слово у смертных одно на всю жизнь, и они берегут его для суда. — Бог посмотрел на поле, по которому уводили молчавших. — Мне нужно, чтобы кто-то держал пергамент. Имена тех, кого я не отпустил, должны быть записаны. Не в списках казначейства — в пергаменте. Ты напишешь.

Жрец чувствовал, что у него спрашивают не услугу. Он не знал, что спрашивают, — и поэтому спросил сам:

— А если я откажусь?

Бог посмотрел на него — и в этом взгляде было то, отчего жрец потом, всю жизнь, просыпался в тишине и первым делом слушал, не шепчут ли:

— Ты не откажешься. Ты видишь счёт. Увидевшие счёт не отказываются — они выслуживают имя. — Бог поднял руку, и жрец увидел, что в руке не посох, не жезл: свиток, пустой, из материала, которого жрец не знал, — не папирус, не кожа, не ткань. — Иди за мной. Работа начинается сегодня. Она не кончится при твоей жизни.

— А при чьей?

Анубис шёл впереди, и жрец шёл за ним, и голос бога, когда он ответил, звучал так, как звучит счёт, когда его произносят по слогам:

— При жизни твоих наследников. Я ставлю Печать не на время. Я ставлю её на срок. У всякого долга есть срок — я знаю это лучше всех, потому что я и есть срок. — Бог не обернулся. — Иди. Первое имя, которое ты запишешь, будет имя того, кто старше тебя. И оно тебе не понравится.

Пергамент, на котором предстояло писать, был сделан из шкуры, и жрец потом не узнает никогда — ни у одного бальзамировщика, ни в одном архиве, — какой твари принадлежала она. Шкура была тёплая. Это было худшее в ней: она не остывала. Ночью, когда он переписывал имена, пергамент лежал на его коленях, как спящее животное, и дышал.

Имён было тридцать шесть.

Он писал их одну ночь — и одну ночь на все тридцать шесть не хватило бы никогда, если бы не одно: рука писала быстрее, чем он думал. Он смотрел на имена в пергаменте — и узнавал их. Это были не демоны. Это были жрецы. Жрецы Первого храма — те, кто стоял при Весах в начале времён, кто держал чаши, когда бог взвешивал первых, — и жрец, который сам стоял теперь при Весах, писал имена своих предшественников и понимал, что пишет не список казни, а список должников.

Тридцать пять он написал за ночь.

Тридцать шестое имя он увидел на пергаменте — и не написал. Рука не поднималась. Имя было его собственное — не то, которым его звали теперь (имени не было), а то, которое он выслужит потом, в конце службы, когда Весы опустеют и наступит его срок: имя Хранителя.

Он смотрел на своё имя в пергаменте бога и понимал — со спокойствием, которое приходит не к молодым, а к тем, кто три дня смотрел на очередь молчащих, — что не вырвется. Что Печать держит и его. Что бог, спросив его «готов отплатить?» за три дня до этого, уже знал ответ — потому что видел его вес, ещё до того, как он взял сосуд с водой, ещё до того, как поднялся на лестницу.

И он написал своё имя последним. Медленно. Разборчиво. Как пишут то, что будет читать кто-то другой — не он.

Пергамент остыл — единственный раз за всё время службы. Анубис завернул его в пластину чёрного обсидиана, и пластина закрылась на нём, как закрывается вода над утонувшим. Саркофаг, в который уложили Печать, был сделан для женщины, — и жрец не спросил, для какой, потому что знал: для той, чьё сердце в эту ночь легло на левую чашу и не поднялось, потому что её не успели спросить. Он стоял при этом — три тысячи лет назад — и видел, как её положили, как заделали лож, как первосвященник, её отец, поцеловал крышку и отступил, и как бог сказал над закрытым ложем:

«Печать Молчания. Не открывать, не читать, не трогать».

И потом — тише, для одного жреца, потому что только он ещё стоял:

«Пока стоит Египет, стоят и они. А Египет — это не камни. Египет — это те, кто помнит».

Первосвященник повторил эти слова в тот же вечер — и они вошли в устав храма, в первую строку, и их стали произносить при посвящении высших ступеней. А сам он, Джедефхор, первый первосвященник нового храма, вернулся в тот же дом, где за месяц до этого умерла его дочь, и сел, и не встал больше никогда: он умер через сорок дней, и жрец-Хранитель, который тоже стоял при погребении, видел, что первосвященник не оплакивает дочь — он считает. Что-то, что не сходится. Что не сойдётся уже никогда.

Имя женщины в саркофаге не высекли нигде. Её не хоронили по обряду — её уложили в гробницу той, кого не спасли, — и жрец знал её имя. Он знал его три тысячи лет. Он ждал того, кто произнесёт его вслух, — а сам не мог, потому что Хранитель, у которого нет имени, не имеет и права его называть.

Он ждал.

Он стоял в темноте под храмом и ждал того, кто спустится по четырёмстам ступеням и скажет Весам то, что они должны услышать.

Двести лет прошло — пришли искатели сокровищ, не дошли.

Четыреста лет прошло — пришла эпидемия, люди умирали быстрее, чем их успевали запирать, и он думал: сейчас. Не пришли.

Тысячу лет прошло — пришёл период, когда о Печати забыли все, включая храм, — и он думал: сейчас.

Не пришли.

А потом, на исходе второго тысячелетия ожидания, по лестнице спустились трое. Двое — по глупости и по любви. И одна — по праву обета, которую Печать отвергла со словами «не эта».

И жрец-Хранитель, последний из тридцати шести, вернулся в темноту за саркофагом и продолжил ждать.

Ждать оставалось недолго.

По счёту — четыреста двадцать лет.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. СЕРДАБ

Утро того дня началось со запаха натрона.

Мерит проснулась от него — так просыпаются в некрополе: не от света, не от крика петуха (петухов на западном берегу не держали; живым петухам запрещено будить мёртвых), а от запахов. Некрополь пах натроном из мастерских бальзамировщиков, смолой из-за ограды заупокойного храма, мокрой пылью лестниц, спускавшихся к Долине, — и это был запах её дома, единственный, который она знала. Семнадцать лет она просыпалась в нём, и семнадцать лет он не менялся.

Менялось другое.

Тень стояла у порога.

Мерит не вскрикнула — она давно не вскрикивала при тенях. Она лежала неподвижно, глядя из-под ресниц, и ждала, как ждали всегда: тень стоит, тень читает, тень уходит. Читать — так она называла это для себя, с детства, когда ещё не было слов и всё называли до-словами: тень наклонялась к спящему, не касаясь его, и стояла так долго, как долго нужно, чтобы пересчитать что-то внутри человека. Потом выпрямлялась, поворачивалась и уходила в стену — или по коридору, или просто ушла, потому что тени уходят не так, как уходят люди: они перестают быть, как перестаёт быть звук.

Эта не уходила.

Она стояла у порога — не наклонившись, не читая, просто стоя, лицом к Мерит, — и Мерит, которая умела лежать неподвижно под взглядом теней с шестилетнего возраста, почувствовала, что холодеет: тени не смотрят. Тени не имеют лиц. У этой было что-то вместо лица — не глаза, но направление внимания, — и это направление было направлено на неё.

— Ты не спишь, — Мерит услышала — не ушами. Ушами она услышала после: щель двери, скрип известняка, шаг сторожа внизу. А эти слова шли внутри, как идут внутри воспоминания, — и потому она сначала не поняла, что это слова, а не её собственная мысль.

«Готова отплатить?» — нет. Это было потом. В это утро тень сказала другое — и от этого другое у Мерит до вечера сосало под рёбрами.

«Скоро».

И тень ушла.

В мастерских бальзамировщиков пахло так, что новичков выворачивало на пороге, — но Мерит заходила туда спокойно, и старший бальзамировщик Небамун ставил ей это в заслугу: «У тебя нос каменотёса, девочка. Запах не страшен тому, кто различает в нём стадии». Стадий было много. Тело старого фараона, лежавшее в мастерской третий месяц, прошло их все: сорок дней в натроне, семьдесят в смолах и полотне, и теперь его везли — не везли, готовили к выносу, — и некрополь жил этим, как живёт деревня жатвой: все сроки, все пайки, все разговоры сходились к одной дате. До выноса ладьи оставалось девять дней.

— Держи крепче, — сказал Небамун. Мерит держала. Она держала полотно, которым оборачивали руку мумии, — руку оттянутую, высушенную, лёгкую, как тростник, — и не чувствовала отвращения, потому что её с детства учили: мёртвое тело не нечисто. Нечисто недосказанное над ним. — Ты дрожишь.

— Не дрожу.

— Дрожишь. — Небамун намотал последний виток, завязал узел, который у них назывался «узлом вечности» — не потому, что вечный, а потому, что развязать его мог только тот, кто завязал, — и выпрямился. Он был стар, Небамун, и руки его, несмотря на возраст, не дрожали: у бальзамировщиков дрожь в руках — увольнение. — Ты дрожишь, девочка, с того утра, как вернулась из сердаба. Я не спрашиваю. Но ты знаешь: у нас в мастерской не спрашивают только тогда, когда знают.

— Не спрашивайте.

— Не спрашиваю. — Он отвесил ей в платок щепоть соли — обычай: за работу, даже за работу держать. — А вот скажу. Сорок лет я работаю с мёртвыми. Я знаю их лица лучше, чем лица живых: живые меняют лица по часам, мёртвое лицо — одно, навсегда, и на нём всегда написано, чем человек был. Так вот. Три ночи назад я выходил по нужде — старик, ночи, что делать, — и прошёл мимо сердаба. И слышал.

Мерит стояла не шевелясь. Соль в платке остывала в её пальцах.

— Что вы слышали?

— Разговор. — Небамун вытер руки о полотно — то же, которым обёртывали умерших, и Мерит подумала, что вот так и рождается нечистота: не в теле, в небрежности. — Два голоса. Один — твой, я узнал. Второй — нет. И второй говорил по слогам, как говорят те, кто впервые учит слова. И на твой вопрос — я слышал, ты спросила — он отвечал так долго, что я ушёл, а он ещё отвечал. Девочка. В сердабе нет никого. Я знаю это помещение лучше, чем собственный дом: я сам замуровывал его двенадцать лет назад, со своим отцом, который замуровывал его до меня.

— Вы услышали вопрос? — спросила Мерит тихо. — Какой вопрос?

— «Готова ли отплатить». — Небамун сказал это ровно, и только теперь Мерит увидела, что рука его — та, самая, что не дрожала у мумии, — дрожит, держа полотно. — Я бальзамировщик, жрица. Я тридцать лет кладу людей в Дуат. Я знаю, какие слова говорят над телами, и какие слова говорят над живыми, и какие слова не говорят нигде, потому что они не человеческие. «Готова ли отплатить» — не из них. Это слово из другой речи. Из той, которой говорят не с людьми.

Он замолчал. В мастерской пахло натроном, смолой, мёртвой рукой — и ещё чем-то, чего Мерит раньше не различала в этом запахе, а теперь различила: страхом. У страха есть запах, как у всего.

— Идите, — сказала она. — И если кто спросит — я у вас не была сегодня.

— Ты была у меня каждое утро, девочка. — Небамун отвернулся к столу, где лежали канопы. — Я скажу то, что всегда говорю: была у тебя.

Отец ждал её у счётной комнаты — и по тому, как он ждал, Мерит поняла всё раньше, чем он заговорил.

Хансенеб — жрец-распорядитель, старик с ровными руками и ровным голосом, выслуживший при некрополе сорок лет, — не носил бороды: некрополевские распорядители брились подчистую, «чтобы инвентарь не путался с лицом». Лицо его было длинное, счётное, как у человека, который всю жизнь сверял одно с другим, — и сейчас на этом лице стояло выражение, которое Мерит знала с детства и боялась больше всех других выражений: он не знал чего-то и готовился это узнать.

— Ты была у бальзамировщиков, — сказал он. Не спросил. У Хансенеба не было привычки спрашивать о том, что можно узнать.

— Небамун звал держать полотно.

— Небамун мог позвать двадцать человек. Он позвал тебя. — Отец открыл дверь счётной комнаты — пустой в этот час, перед полуднем, когда писцы уходили на воду, — и Мерит вошла, и он затворил дверь за ней, и услышав затвор, она поняла: разговор будет тот, которого она боялась семнадцать лет.

— Садись.

Она села на счётный ящик. Отец остался стоять у окна — он стоял у окна во всех важных разговорах, «чтобы свет падал на говорящего, а не на слушающего; так видно, кто говорит правду, а кто её держит». Свет падал на него. Лицо было в тени.

— Ночью в третью стражу, — сказал Хансенеб, — умер распорядитель.

— Мут приходила. Я знаю.

— Ты не всё знаешь. — Он повернулся от окна. — Знаешь ли ты, что сторож южной галереи, дежуривший в ту стражу, не услышал голос? Услышал двое. Один говорил, другой отвечал. Двое, Мерит. В покоях распорядителя, запертых изнутри, разговаривали двое.

Мерит молчала. Она молчала — и молчание её было тем самым молчанием, которое она несла с шести лет: молчанием, у которого внутри лежит всё, а снаружи не видно ничего. Она владела им, как бальзамировщики владеют смолой.

Отец смотрел на неё — долго, счётно, как сверяют запись с записью. Потом подошёл к дальнему ларю, открыл его — не тем ключом, которым открывали при ней, другим, — и вынул оттуда табличку.

Табличка была старой. Не очень — лет пятидесяти, не больше, — покрытой воском, исцарапанной стилетом сверху донизу. И знаки на ней были не знаки. Мерит узнала их мгновенно, всем телом, как узнают родное: эти знаки она видела — в ночь в сердабе, на Печати, в миг, когда камень ответил ей теплом.

— Где вы её взяли? — прошептала она.

— Двадцать лет назад, — сказал отец. — В нижнем архиве, куда ходят только распорядители с выслугой. Я искал опись каноп старого царского погребения — и нашёл это. Табличка счётная, девочка: на ней столбцы. Но столбцы не из ячменя и не из людей. Я потратил два года, чтобы прочесть один столбец, — и не прочёл ни одного. Потом перестал. Потом, время от времени, доставал и смотрел. — Он положил табличку перед ней. — Ночью, после того, как умер распорядитель, я достал её снова. Я не знаю, почему. Старик не может объяснить себе всё, что делает, — но я достал. И вот что я увидел: вот этот столбец, — он показал ногтем, не касаясь воска, — переписан заново. Поверх старого. Другой рукой. Вчера ночью, Мерит. Табличка лежала в запертом ларе в запертой комнате, и на ней писали. Я сорок лет веду некрополь. Я знаю, что невозможно. Это — невозможно.

— И что вы сделали? — спросила Мерит.

— Я сделал то, что делают распорядители. — Отец усмехнулся — коротко, без веселья. — Я сверил. Дата. Время. Столбец переписан в третью стражу — в тот самый час, когда умер распорядитель и когда сторож слышал двух говоривших. — Он замолчал. Свет падал на него, и Мерит увидела, что отец стареет не годами: он стареет этим разговором, прямо сейчас, минута за минутой. — И вот что я скажу тебе, дочь, и скажу один раз, потому что второй раз не выдержу. Ты ходишь по некрополю, как ходят те, кто слышит шаги за спиной. Ты дрожишь у мумий — а мумии для тебя не страшны, ты не того боишься. Семнадцать лет я смотрю на тебя и молчу, потому что у жреца некрополя молчание — это ремесло, и я в нём мастер. Но сегодня ночью на счётной табличке, запертой под двумя замками, кто-то переписал столбец. И я больше не могу позволить себе ремесло. Скажи мне. Что ты слышала?

Мерит смотрела на табличку. Знаки Первого Промежутка — мёртвого языка, которого не знал ни один живой писец Фив, — лежали перед ней, и она понимала то, чего не понимал отец: они не переписаны заново. Они дописаны. Последняя строка столбца, оборванная полвека назад, теперь имела продолжение — ровное, спокойное, счётное:

«Плата внесена. Очередь первая. Осталось тридцать пять».

И Мерит сделала то, чего боялась все семнадцать лет: она открыла рот — и сказала отцу правду.

Не всю. Она сказала про тень у постели в шестилетнем возрасте. Про то, как тени читают спящих. Про то, что она слышала их всегда — везде, где они стояли: у постелей, у порогов, у Весов. Про ночь в сердабе — шёпот, вопрос, тёплый камень, черепок с двумя строками.

Не сказала только одного. Не сказала, что тень в это утро стояла у её порога — и что сказала она: «Скоро».

Потому что часть правды была уже не правдой, а сроком — и срок этот шёл к ней не от отца, не от некрополя, не от людей. Срок шёл из-под земли, где три тысячи лет что-то ждало, — и ждать оставалось недолго.

Отец слушал. Он не перебивал ни разу — и это было страшнее, чем если бы перебивал: перебивают те, кто не верит. Он не перебивал, потому что верил — и, может быть, верил давно, все семнадцать лет, каждый вечер сверяя молчание дочери со своими невысказанными страхами.

Когда она кончила, он долго молчал. Потом положил ладонь на счётную табличку — ладонь, которой не касался её никогда, — и сказал:

— У меня к тебе не вопрос, дочь. У меня к тебе распоряжение, и как распорядитель некрополя я его отдаю. — Он поднял на неё глаза, и в глазах его не было ни страха, ни жалости: было то самое счётное спокойствие, которым он сорок лет сводил некрополевские описи. — Не ходи больше вниз. Ни в сердаб, ни под землю, ни в Долину. Пока я жив — не ходи. Потому что я знаю то, чего не знаешь ты: у всякого счёта есть срок. И если этот счёт дойдёт до тебя — я хочу, чтобы ты была наверху. При свете. При людях. При отце.

— А если счёт не спросит, где я?

— Счёт, — сказал Хансенеб ровно, — всегда спрашивает, где ты. — Он забрал табличку, запер ларь и добавил, уже у двери, не оборачиваясь, тем голосом, которым диктовал описи: — Иди к жрице Неферусен. Скажи: «Отец просит». Она поймёт. И, Мерит… — Он остановился в дверях, и свет из коридора упал на него сзади, так что лица было не видно. — Если когда-нибудь спросят тебя, готова ли ты отплатить, — не отвечай ничего. Есть вопросы, на которые молчание — не трусость. Есть вопросы, после которых живым не положено отвечать. Спроси Неферусен про ту ночь. Она ответит тебе словами, которых я не могу произнести.

Дверь затворилась.

Мерит осталась одна в счётной комнате — с запахом воска, полотна и натрона, с дрожью в пальцах, которая не прошла за весь день, — и думала об одном: отец знал. Не всё — но знал. Он вёл своё молчание двадцать лет, как она вела своё, — и оба молчания, разобравшись, оказались одним: двумя сторонами одной заботы, которая не имела слов.

А тень, которая утром стояла у её порога и сказала «скоро», больше не приходила.

За весь день.

И это было хуже всего.

К вечеру Мерит пошла к Неферусен — в дальнее крыло, где кончались жаровни и начинались пустые коридоры. Шла через двор — и двор был в лихорадке погребальной подготовки: носильщики репетировали подъём ладьи, жрецы сверяли гимны, писцы тащили свитки из архива в счётную, и всё это двигалось, гудело, перекликалось — обычный день некрополя за девять дней до выноса.

Только один человек во дворе стоял не двигаясь.

Старший жрец Пахери. Он стоял у стены переднего зала — под статуей основателя храма, первосвященника Джедефхора, — и смотрел не на процессию, не на ладью, не на статую. Он смотрел на стену. На ту её часть, где, между двумя скрытыми нишами, в глубокой старине вырезана первая строка устава — та, которую Мерит знала наизусть, как знали её все посвящённые высших ступеней:

«Пока стоит Египет, стоят и они».

Пахери смотрел на эту строку так, как смотрят на письмо, которое однажды придётся открыть, — и Мерит, проходя мимо, поймала его взгляд. Он не отвёл. Он кивнул ей — коротко, тайно, как кивают не приветствие: как подтверждают получение. Получение чего — она не знала. Пока не знала.

«Скоро», — сказала утром тень.

«Осталось тридцать пять», — дописала ночью рука на воске.

«Иди к Неферусен», — распорядился отец.

Три повеления из трёх разных миров — из-под земли, из надписи, из человеческого рта, — и все три сходились к одной точке, к одному крылу, к одной келье, где двадцать лет молчала женщина, которая знала всё.

Мерит пошла к ней.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ МОЛЧАНИЯ

Ночь смерти распорядителя и спуск Мерит в сердаб — одна ночь, два взгляда.

Служанку звали Мут, и она боялась не темноты — темноты, которая слушает.

Разница была важная. Простая тьма — это отсутствие: нет света, нет глаз, нет ничего. Мут умела жить в простой тьме. Двадцать лет она служила при покоях верховного распорядителя — поднималась к нему ночами с лекарствами, с горячей водой, с папирусами, которые он диктовал при одной лампаде, — и знала коридоры на ощупь, знала, какая ступень скрипит, в какой нише воздух стоит, а в какой ходит. Это была её тьма. Своя.

А была другая. Она начиналась в третью стражу — в тот час, о котором не говорят вслух, потому что скажешь — и призовёшь. По слову старых женщин некрополя, в третью стражу тени ходят между живых и читают спящих. Мут не была жрицей. Мут была служанкой — то есть человеком, который видит всё и не имеет права ничего рассказывать, — и потому она завела себе правила. Правила были просты: в третью стражу не смотреть в тёмные углы. Не отвечать, если окликнут из-за стены. И главное — не считать. Тени не любят счёта: счёт есть признание, что ты их заметил, а тот, кто заметил, становится заметным сам.

За одну эту ночь она нарушила все три.

Началось с тишины.

Мут проснулась не от звука — от его отсутствия. Покои распорядителя были всегда полны жизни даже ночью: старик храпел — долго, ровно, с присвистом, как храпят старики, выспавшиеся за жизнь и теперь отрабатывающие недосып вслух. Храп был её метрономом двадцать лет. Этой ночью он прекратился.

Не прервался. Прекратился. Разница чувствовалась телом: прерванный храп означает, что человек повернулся на другом боку. Прекратившийся — что храпеть больше некому.

И тогда из-за полотняной завесы донёсся голос.

Ровный, счётный, без тембра и без возраста. Мут узнала его мгновенно — голос распорядителя. Только теперь старик не спрашивал про воду и не диктовал письма. Он говорил по слогам, как говорят перед судебной палатой:

«Готов отплатить?»

Мут прижалась спиной к стене. По всем правилам ей следовало закрыть глаза и ждать рассвета. Она смотрела сквозь полотно — так смотрят сквозь ткань на спящего: контурами.

Распорядитель сидел на ковре. Не на ложе — на ковре, у изножья, как сидят просители. Спина прямая — слишком прямая для старика, который час назад храпел. Руки лежали раскрытыми ладонями вверх: так держат нечто невидимое и тяжёлое.

А напротив него, между ним и лампадой, стояло второе.

Мут не смогла бы сказать, что это. Не человек — и не тень тоже: нечто, что занимает место, не занимая его. Оно говорило тем же ровным голосом, и слова его Мут запомнила на всю жизнь, хотя поняла отчасти:

«Долг принят. Плата — недописанное. Написанное не берём: написанное принадлежит писцу. Очередь первая. Осталось тридцать пять».

Распорядитель кивнул — так кивают должнику, озвучившему условия: справедливо, по уставу.

— Готов отплатить, — сказал он.

Потом лёг на ковёр лицом к югу, к некрополю. Руки раскрыл ладонями вверх. И замолчал.

А второе наклонилось к нему. Не коснулось — наклонилось, как наклоняется писец над строкой: внимательно, без спешки. Читало.

Пламя лампады стояло вертикально. В закрытых покоях, посреди ночи, где нет сквозняка, огню положено дрожать. Оно не дрожало. И по потолку, медленно, сыпалась тонкая пыль — не по ветру: по весу, как сыплется труха с балки, на которую положили слишком много.

Мут не помнит, сколько она смотрела. Она помнит, что голос за завесой умолк — не потому, что разговор кончился, а потому, что отвечать стало некому. Когда она осмелела выглянуть, распорядитель лежал так, как нашли его утром: лицом к югу, ладонями вверх, глаза открыты, рот открыт. На лице застыло не страх — ожидание расписки. Так застывает человек, который отдал всё и ждёт квитанции.

Там, где стояло второе, никого не было. Только на ковре, в пыли, отпечатался прямоугольный след — как отпечатывается то, что лежало на этом месте долго. Отпечаток таблички.

Табличку Мут не взяла. У служанки нет права касаться счётных записей — тем более записей, которые пишут не живые. Она закрыла ладонями глаза, доползла до своей каморки — по правилам: в третью стражу не оглядываться — и ждала рассвета.

Утром она пошла не к жрецам. К Мерит.

К жрецам нельзя: скажут «бредни», отправят в Дом Молчания. А у служанки нет никого, кроме тех, кто тоже слышит. Служанки некрополя знали про Мерит то, чего не знали жрецы: девочка слушает. Не теней — теней слышат все. Мерит слышит то, чего не слышат другие, — и потому к ней носили свои страхи, как к бальзамировщикам носят своих мёртвых.

Она пришла до рассвета, без стука, со свечой, дрожавшей в руке так, что воск стекал по пальцам.

— Госпожа. Распорядитель умер. Ночью. Той же, как ты вернулась из сердаба. Я была при нём. Я всё видела.

Мерит села на край лежанки. Свеча качнулась — тени на стене качнулись вместе с ней, и Мерит поймала себя на том, что проверяет: стоят ли тени на своих местах. Стояли. Пока стояли.

— Рассказывай.

И Мут рассказала всё: голос, ковёр, второе существо, ровное пламя, пыль, отпечаток таблички. Рассказала и замолчала — но Мерит знала служанок: замолчавшее до конца — не всё сказала.

— Что ещё?

— Голос, госпожа. Второй — тот, который читал. Он отвечал распорядителю. И говорил… — Мут подняла на неё глаза, и в глазах был ужас человека, у которого нет слов для того, что видела. — Он говорил так, как говоришь ты, когда читаешь по слогам то, чего не понимаешь. Так же. Слово в слово. Как будто твоя речь прожила на двадцать лет больше тебя — и вернулась.

Мерит почувствовала, как холодеют пальцы. Второй голос. Она никому не говорила о втором голосе — «Не эта. Где она?» — тот шёпот из сердаба, который она утаила даже от отца. Теперь тайну протыкала снаружи служанка, не знавшая о ней ничего.

— Мут. Почему ты пришла ко мне? Не к старшему жрецу. Не к отцу.

— К отцу нельзя: он распорядитель, ему положено доложить. А к тебе… — Мут смотрела в пол. — Госпожа, я скажу, и ты не смейся. Я заметила давно, ещё когда была молода: в твоей келье тени стоят тихо. В других покоях они ходят у стен, ночью, в третью стражу. В твоей — стоят. Ровно. Как стоят в присутствии.

— В присутствии чего?

— Не знаю, госпожа. Мы, служанки, говорили об этом раз, много лет назад, и больше не говорили: неспособно это говорить. Но знали все. И потому я пришла к тебе. И потому скажу последнее. Когда всё кончилось, когда голос умолк и я ползла к себе — я слышала крик. Из дальнего крыла. Кричала женщина — так, как кричат не от боли. Так кричит молчание, когда

лопается. Двадцать лет я служу, госпожа, и двадцать лет из дальнего крыла не было ни звука. А этой ночью там закричали.

Дальнее крыло. Там, где кончались жаровни и начинались пустые коридоры. Там, где двадцать лет молчала жрица, у которой отняли голос не горло — выбор.

— Спасибо, Мут, — сказала Мерит. — Иди. И если кто спросит, где ты была, — скажи, что молола ячмень. Тебе поверят: ты сама не веришь тому, что видела.

Мут ушла — осторожно, не оглядываясь, как ходят люди, научившиеся не оглядываться. А Мерит осталась сидеть на краю лежанки со свечой, которую служанка забыла на полу, — и смотрела, как пламя, наклонившись, дрожит. Это пламя дрожало. Значит, в келье был воздух. Значит, пока — живой.

Днём некрополь жил погребением, как деревня живёт жатвой: все сроки, пайки и разговоры сходились к одной дате.

Тело распорядителя передали бальзамировщикам. Небамун принял его сам — не доверил подмастерьям, и это было знак: тела знатных он принимал сам, а распорядителя принимал так, как принимают родню. Мерит стояла при этом — положено было младшей жрице — и видела то, чего не видели другие: когда Небамун развернул полотно и осмотрел руки старика, он долго держал их раскрытые ладони в своих, как сверяют вес на весах. Потом сказал — не ей, в пространство, потому что бальзамировщики говорят с телами:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.